ДЛЯ ТЕБЯ, РИО-РИТА



18+

У ВРЕМЕНИ
СВОЯ МЕЛОДИЯ

ИРИНА СТЕПАНОВСКАЯ

Вечные семейные ценности. Исторические романы

Ирина Степановская

Для тебя, Рио-Рита

«Эксмо»
2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Степановская И.

Для тебя, Рио-Рита / И. Степановская — «Эксмо», 2026 — (Вечные семейные ценности. Исторические романы)

ISBN 978-5-04-257305-7

Проникновенная семейная сага о судьбах, связанных одной мелодией. Две эпохи. Две изоляции. Один человек, ставший проклятием для нескольких семей. И тайна, скрытая в секретных архивах. 1941—1943 годы. Уральский тыловой город принимает эвакуированную интеллигенцию. Под звуки модной мелодии «Рио-Рита» привлекательный, но малодушный учитель математики Николай Мезенцев совершает предательство, которое меняет жизни нескольких поколений. Об этих событиях напишет в своем дневнике школьница Женя. Наши дни. Мир скован пандемией ковида. Учительница истории Марьяна Михайловна ведет уроки на удаленке. К ней случайно попадают странички военного дневника. Пытаясь разгадать судьбы детей войны, сопоставляя их с жизнью ее современных учеников, она не подозревает, что находит ключи к драме ее собственной семьи. Способна ли историческая правда освободить человека от рокового наследия, о котором он даже не подозревал? «Нельзя жить в страхе, нельзя жить взаперти. Вынужденные запреты меняют людей и порождают монстров. Автор свободно перемещается с героями романа из одного времени в другое, связывает события на стыке веков. Время меняются, но сюжеты повторяются. Нам пора уже делать выводы. Новый роман Степановской именно об этом». — Елена Ронина

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-257305-7

© Степановская И., 2026
© Эксмо, 2026

Содержание

Часть первая. Пасодобль 7
Глава 1. Дневник 9
Глава 2. К вам эвакуированных подселяют? 12
Глава 3. Опасайтесь слишком умных детей 20
Глава 4. Старая школа 25
Глава 5. Кринжово 28
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Ирина Степановская
Для тебя, Рио-Рита

© Степановская И., текст, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Für mich, Rio Rita,
Bist du Granadas schönste Señorita,
Für dich, Rio Rita,
Klingt meine Serenada in der Nacht[1].
O. H. Adam, J. Brest

[1] Для меня, Рио-Рита,Ты самая прекрасная госпожа в Гранаде,Для тебя, Рио-Рита,Звучит моя серенада в ночи (*нем.*).

Часть первая. Пасодобль

«У счастливых людей нет истории».
Агата Кристи

Это был даже не портфель, а *дипломат*.

Теперь-то уже, наверное, не все понимают, что это такое. *Дипломат* по сути – плоская коробка из кожи или кожзама, с жесткими картонными гранями, двумя «чемоданными» замками и «чемоданной» же ручкой. С начала 70-х он был очень популярен у мужчин, доброе десятилетие заменяя портфель. Многие носили в нем вовсе не документы, а бутылку какого-нибудь бухла (от водки до шампанского), пару бутербродов, завернутых в газету, и грязные носки. Такое содержание для *дипломата* было насмешкой, но этого никто не замечал.

В 1972 году отцу исполнилось тридцать, он считался «молодым» преподавателем в Политехе, и портфель-дипломат был атрибутом его модности и значимости. Отец носил в нем вещи как раз очень ему нужные – отпечатанные на пишущей машинке лекции, научные статьи, методические пособия для студентов.

Я была поздним ребенком: когда родилась, отцу уже приближалось к сорока. После смерти мамы он внезапно ушел из университета. На моих глазах отец выбросил все свои лекции, забив дипломат старыми фотографиями, обращениями и письмами (в разные организации и по разным поводам, никогда меня не интересовавшим). Еще почему-то там оказалась книга какого-то неизвестного мне автора – Левицкого: «Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности». Какое отношение сопротивление материалов имело к политэкономии, которую всю жизнь преподавал мой отец, так и осталось для меня неясным.

Но сейчас на моем столе вовсе не фотографии из дипломата (я их и не доставала оттуда: только положила сверху больничные выписки и снова закрыла).

Я смотрю в окно поверх экрана ноутбука на заснеженный двор. Вдоль двора рядами стоят машины; некоторые из них все еще в снегу, хотя первый сильный снегопад был два дня назад. Есть и почищенные, и их разноцветные крыши вносят разнообразие в пустое безмолвие двора. За машинами детская площадка, из-за ковида тоже пустая. Еще дальше – деревья и узкая дорожка между домами к магазину «Пятерочка». Двое парней в зеленых рабочих жилетах и медицинских масках на смуглых лицах скребут снег, какая-то женщина в короткой шубе (и тоже в маске) выгуливает собачку.

Сбоку от моего ноута лежат ксерокопии нескольких страничек дневника одной девочки. Эти копии послала мне Соня Кириллова из *моего* 9 «В» – самая ответственная девочка из нашего лицея.

Первая запись на этих страничках датирована летом 1939 года.

Почерк явно не взрослый: перьевая ручка двигалась с аккуратным нажимом (так каллиграфически никто из моих учеников нынче бы не написал).

Сегодня, в один из предзимних дней 2020 года – то есть спустя более восьмидесяти лет после того, как чья-то детская рука выводила дневниковые слова, – я сижу на «удаленке» из-за коронавирусной пандемии и смотрю на эту запись. Через пять минут у меня начнется онлайн-урок в Сонином классе, и я готова к нему, как и к следующим трем, но думаю не про урок, а про дневник 1939 года.

Люди, о которых в нем идет речь, так же далеки от моего настоящего, как Клеопатра или Ленин, но почему-то сейчас они интересуют меня гораздо больше, чем вышеупомянутые персонажи, и даже больше, чем мои ученики, которых я учу уже не первый год. Из-за этого дневника я уже сутки живу с ощущением погружения в какую-то тайну – что, кстати, никогда не возникает, когда я думаю про сегодняшних учеников. С ними все ясно: переизбыток инфор-

мации, периодически возникающее чувство потери и одиночества, влюбленность – в общем, все то, что повторяется из поколения в поколение. Интересно, примешивается ли сейчас к их мироощущению чувство опасности из-за пандемии? Многие дети лет до пятнадцати живут как звери, просто перенимая опыт родителей в элементарных вещах, таких как еда, сон или учеба. И только при столкновении с чем-то непонятным и захватывающим (как, например, любовь, жестокость, грубая сила) начинают поражаться своим собственным открытиям – и через это познают себя.

Забавно, что никто не хочет, чтобы их дневники видели мама и папа. Одноклассники сейчас переписываются в социальных сетях. Родителям письма теперь не пишет никто. Почти никто, почти никогда… Только если вдруг не решит, что больше не хочет, не собирается, не может жить.

Но я не хочу заканчивать фразу этим страшным в данном контексте глаголом «жить».

Я снова перечитываю дневник – ту страничку, которую переслала мне Соня.

Глава 1. Дневник

8 июня 1941 года.

Я перешла в 9-й класс. Наверное, сейчас я уже стала большая. Кончила год отличницей, но что от этого толку, я сидела, сидела за уроками до боли в глазах. Ну получила бумажку с отличными отметками. Только, конечно, хорошо перед ребятами. У нас два отличника – В.Н. и я. Из девочек я учусь лучше всех. Некоторые ребята ушли в военную школу на летчиков. Туда многие хотели уйти, даже В.Н. хотел поступать, но его не приняли, сказали, из-за роста, слишком высок. Мы сначала пригорюнились, что многие уходят, но потом ничего. Некоторые ребята так переменились! В.Н. тоже совсем другой стал, уже не вспыльчивый и не придирчивый, а стал очень вежлив и уступчив…

Дальше я буду писать по-английски, не хочу, чтобы мама увидела. А по-английски она не поймет.

…I supprise, why I think about him too much… (Дальше я просто перевожу) *…Мне очень нравятся его глаза и светлые волосы. Что это? Почему, когда я смотрю на него (*здесь была использована не совсем правильная конструкция), *мне все время хочется смеяться? Он тоже улыбается иногда, когда глядит на меня… Я очень рада, что он не пошел на летчика.*

Г. сказала, она слышала разговор, что нашу школу хотят разъединить с мальчишками. Их перевести в другую, через три улицы. Вот плохо будет, мы с девочками вообще все переругаемся…

Во время пандемии много чего странного приходит в голову.

Ограничительные меры для меня – это блокада. Без голода, но блокада. Весной нельзя было выходить из дома (кроме как в магазин или в аптеку), теперь закрыты музеи и театры, но пока еще можно думать. Мой дух уже почти сломлен необходимостью постоянно торчать у себя в комнате, думая о еде. Мысли о еде весьма навязчивы, хотя и нельзя сказать, что есть хочется больше, чем раньше. Наверное, так проявляется стресс. Организм хочет наполнить себя пищей про запас – вдруг потом не будет. Но, несмотря на сытость, я все равно испытываю чувство какой-то странной тошноты и пустоты, будто теряю собственное «Я». Немного напоминает беременность: живешь и знаешь, что не совсем уже себе принадлежишь. Поэтому сейчас особенно приятно думать не о работе, а о чем-то абстрактном, меня напрямую не касающемся. Впрочем, если эти несколько страничек дневника, как теперь говорят, «зашли» – значит ли это, что они меня не касаются? А если касаются, то как именно? Или думы о постороннем – просто средство убежать от опасного настоящего?

Родители детей из 9 «В» жалуются: с тех пор как объявили изоляцию, их чад вообще невозможно оторвать от компьютерных игр. Эпидемия ковида идет параллельно с эпидемией видеоигр. Может быть, я тоже играю в какую-то виртуальную игру, придумывая прошлое? Интересно, могли ли все эти люди из дневника, которых незнакомая девочка обозначала инициалами В.Н. или В.В.Н., или Г., или М. и которые теперь существуют в моем сознании, думать так, как я это воображаю?

Ну например:

В.Н. *Может быть, рассказать Джеймсу? Сам я, похоже, ни в чем не могу толком разобраться. Особенно в том, что такое любовь. Любовь – это страшно или прекрасно? Если прекрасно, то отчего тогда меня*

охватывает ужас? Я уже вырос такой взрослый и рослый (на листке может быть нарисована смешная рожица и длинная сосиска, означающая тело, с палочками рук и ног. Между ног пририсована еще одна, стыдливо заштрихованная, сосиска, устремленная вверх), *а хочу всего правильного и хорошего, как маленький.*

В.В.Н. *Какой дурак! Молодой и глупый дурак! Зачем ему в 17 лет жениться на еврейке, у которой уже сидит отец и, вероятно, скоро посадят и мать? И я буду круглым дураком, если до этого допущу.*

Ж. *Я буду писать о В.Н. по-английски, чтобы не прочитала мама и не рассказала папе. А по-английски она, если и найдет дневник, не поймет.*

Г. *Все, что я думаю о М. – обо мне и о ней, – это очень чисто, хотя я не знаю, как мне к этому относиться. Это совсем не похоже на то, что бывает по ночам между моей матерью и «им». Мне стыдно, но своего отца я теперь называю не папой, а «им», потому что он стал похож на что-то ужасное. Я даже в дневнике не могу написать, на кого он стал похож. Если честно, то на животное. Мне его жаль, он тяжело работает, он приходит с завода даже не каждый день, он приносит паек нам, а мать делит его между всеми. Он – герой, стахановец, но все-таки… Когда он дома, он всегда злится на меня и братьев. Ругается, что мы дармоеды и не хотим хорошо учиться. Орет, что будь братья постарше, он бы заставил их работать на заводе и тоже зарабатывать пайку. Я никому об этом не рассказываю, даже Ж. До войны отец таким не был. Наверное, эти мысли – самое стыдное, о чем я думала когда-нибудь в своей жизни.*

М. *Предательство – вот главное, вот что меня окружает. Все предают всех. Мать предала отца, отец предал меня, и Николай тоже предал меня. Для завершения этого круга логично утверждать, что я тоже, в свою очередь, предала В.Н. А про В.В.Н. я точно знаю, что я его ненавижу.*

Интересно, насколько я близка к правде в своих фантазиях? Если Г. – это Гелька, как ясно написано в дневнике, то саму девочку, автора этих страничек, зовут Женя. В.Н. – скорее всего, их одноклассник. Похоже, что Геля и Женя – подруги. Это я заключила из текста, который следует дальше. Ангелина и Евгения – красивое сочетание. Мне нравится. Но тогда кто такая М.? И кто такой В.В.Н.? А Николай?

Мысли на отвлеченные темы спасают от желания убежать и спрятаться в какой-нибудь темный угол, потому что от всех этих новостей по поводу ковида меня временами настигает страх, переходящий в панику.

Странички дневника лежат на столе, я листаю их снова и снова. Почему? Из-за их безусловной искренности. А еще – в них есть что-то такое простое, в общем-то, давно известное, но в то же время и совершенно таинственное, интригующее, не соответствующее нашим представлениям о жизни во время войны.

Мы учим с детьми даты, фамилии, государства, конфликты, а я так и не знаю, удается ли мне донести до них, что вообще-то история (мой предмет) – это не совсем «интересная история, которая сейчас произойдет на Патриарших». История, как я понимаю ее, – это время. Одновременно и длительное, и настоящее, и прошедшее – оно и вызывает цепи событий. Время – самое интересное, что можно получить от такого предмета, как мой. Про него никогда не знаешь ничего точно, кроме того, что оно уже было. Оно ускользало и ускользает, и никогда до конца не понимаешь подоплеку событий, даже если видишь портреты, читаешь тексты договоров, приговоров, дневников и писем. За ними всегда скрывается нечто большее, чем задокументировано: огромное, недостижимое – то, что невозможно прочитать между строк. Я имею в виду ту настоящую жизнь, которую проживают участники событий. А те, кто приходят позже,

все равно не могут до конца ни осознать, ни даже представить ее полной картины, которая принадлежала людям, существовавшим до них. И получается, что настоящее (и то, как мы его представляем) – это двойной шаг, как в пасодобле, когда танцор изображает быка и тореро одновременно.

Я прекращаю чтение. Нажимаю на кнопку «включить» и начинаю урок. Параллельно, на другом – прошлом – временно́м витке, что-то строится и разрушается, крепнет, разваливается; текут события, клубится пар над холодной землей, поднимается дымок из труб, течет время…

Глава 2. К вам эвакуированных подселяют?

Блеск, желтизна и запах краски. Полы, выкрашенные в начале июня, теперь уже не пахли так одуряюще новизной, только все еще блестели после мытья.

Женя хорошо помнила эти дни в самом начале каникул.

Папа сказал:

– Надо Жене сделать собственную комнату. Она ведь уже почти взрослая. Тем более она отличница.

У Жени прямо дыхание перехватило, так она хотела иметь свою комнату, но стеснялась сказать. Ведь даже у папы не было хоть маленького кабинета или мастерской, и у мамы не было собственной спальни. Только бабушка когда-то царствовала в своем маленьком убежище: угловом помещеньице с небольшим окном, выходящим на улицу. До сих пор там стояла ее кровать. Женя, когда была маленькой, часто забегала в ту комнатку к бабушке. Там все казалось ей немного таинственным и волшебным: и старые вещи, и сама бабушка с ее старомодной прической, неизменной брошкой у ворота на платье. После бабушкиной смерти комнатку закрыли. И вот теперь папа решил отдать ее Жене.

Первым делом распахнули окна. Сирень из палисадника рванулась через подоконник пушистыми кистями, будто кто-то протянул Жене огромный букет. По дороге за палисадником прогрохотал грузовик, а за ним вдруг сразу стал различим звук кастаньет «Рио-Риты», будто грузовик притащил мелодию за собой – и сам под эти кастаньеты уехал.

Всю старую мебель сдвинули. Столик для шитья вынесли в «большую» комнату, в которой Женя раньше делала уроки. Стены и потолок покрасил сосед-маляр, а подновить пол решили сами. Папа подстелил газету, поставил банку с краской, встал на четвереньки и начал быстро красить. Краска была густая, скапливалась на конце круглой кисти. Папа делал вдоль каждой половицы несколько жирных клякс, а потом быстро их размазывал. И Жене тоже хотелось попробовать красить, но папа сказал, что он сделает быстрее. Его рука действительно очень быстро ходила по доскам, как рейсфедер вдоль линейки на уроке черчения. Папин бритый затылок поворачивался за рукой – то влево, то вправо, – и Женя видела, как постепенно покрывается крошечными капельками его шея и темнеет, увлажняясь на спине, серая рубашка в полоску. Мама пришла из кухни, посмотрела и сказала:

– По-моему, слишком ярко. Как яичница. Вам не кажется?

Тогда папа встал с колен, положил кисть на крышку от банки, отошел подальше, чтобы лучше оценить, хорошо получается или нет, прищурил один глаз и подмигнул Жене:

– Ну как тебе? Ярко или нет?

И Женя сказала, что все отлично, что ей очень нравится. И это было правдой. Женя вообще врать не любила.

Когда полы просохли, мама принесла из кладовки темно-красную домотканую дорожку. Женя сама раскатала ее вдоль комнаты, от окна до стены, и все прохаживалась по этой дорожке босиком, все любовалась на блестящие полы и новый, специально купленный для нее у кого-то из папиных знакомых деревянный письменный стол. На бабушкино зеркало в темной раме, под которым теперь сделали полочку для расчески и куда Женя положила бабушкину заколку. Заколка ей тоже очень нравилась, хоть и была старомодной.

…Часы с кукушкой пробили четыре. Скрипнула калитка (та, что была со двора, а не с улицы), и раздался топот бегущих по деревянным ступенькам ног. Кто-то быстро застучал в кухонную дверь.

«Наверняка Гелька. Не в Гелькином характере оставаться дома, когда только начался учебный год». – Женя накинула папину душегрейку на тонкой овчинке и пошла открывать.

Подружка сняла в прихожей пальтишко, вбежала, топая ботинками, в комнату.

– К вам эвакуированных подселяют?

Тонкая, с острыми локтями и коленками, со звонким голосом, Гелька не умела ходить, только бегала. Рыжие ее волосы все время выплясывали из-под синего головного платка – никакой гребень не мог их удержать; кончик носа лоснился, в зеленых пестрых глазах мелькало что-то бесноватое. Вот и сейчас она так решительно уставилась на подругу, что Женя даже отошла немного: будто проглотить хочет.

Какие же они с Гелькой все-таки разные! И почему они дружат? Женя Гельку не очень-то уважала, считала легкомысленной. Классная руководительница, Анюта, когда давала им характеристики перед каникулами, так и сказала: «Женя Кириллова – девочка серьезная, ответственная, а вот ее подружке Геле Полковниковой надо бы серьезности поднабраться». Женя тогда усмехнулась мысленно: значит, правду говорят, что противоположности сходятся.

Сама Женя считала себя умной и рассудительной, не в пример Гельке. Вот только добавить бы к ее серьезности еще чего-то такого, чтобы никто в школе уже не стал бы ее называть «кириллихой». Может быть, это оттого, что она слишком бледная? Вон у Гельки щеки – морковный цвет, а у нее, Жени, всегда все бледное: что лоб, что шея. И волосы не поймешь какие – то ли русые, то ли каштановые, и глаза к ним в тон, светло-карие, почти прозрачные, папа говорил, как коричневые агаты. Да только ведь эту прозрачность еще разглядеть нужно.

– Ну так подселяют к вам или нет? – Гелька даже ногой топнула от нетерпения.

– Вон… – Женя кивнула в сторону окна.

Гелька хотела подскочить, но Женя строго сказала:

– Куда в ботинках? Не видишь, я сегодня полы мыла?

– Да я калоши сняла! Еще до кухни, в сенях. Ботинки-то чистые!

Но Гелька – для верности, чтобы не огорчать подругу – быстро расстегнула пряжки черных, похожих на мужские, ботинок, скинула обувку у порога и в одних простых хлопчатобумажных чулках подбежала к окну. Женя поправила двумя руками свои косы, связанные в «корзинку» коричневыми лентами, вздохнула и пошла вслед за ней.

На скамейке у ворот под толстой рябиной – под ней в прошлом году так радостно было болтать, лузгая подсолнухи, – неподвижно сидела девушка. Ей можно было дать лет двадцать – в ее темно-зеленом «взрослом» пальто из габардина, шелковой косынке, повязанной поверх воротника, и фетровом берете, надвинутом до темных ровных бровей. На сиденье возвышался синий бархатной узел с золотистой бахромой. На земле у края скамьи стоял чемодан, обтянутый светло-коричневой кожей, и его металлические углы тускло блестели.

По всей видимости, девушка сидела уже долго: спиной она оперлась о скамейку, а ноги вытянула. Плечи ее были опущены, руки засунуты глубоко в карманы, и как-то не по сезону странно в наступающих ранних сумерках выделялись белые носки с голубой каймой над темными грубыми полуботинками – светлыми пятнами на фоне пожухлой травы.

«Холодно, а она носочки нацепила вместо чулок. Фасонит…» – подумала Женя.

Она рассматривала незнакомку – индифферентно, как слона в цирке.

– Красивая… – Гелька чуть ли не носом в стекло влезла. – Смотри-ка, берет у нее булавкой заколот, будто у артистки.

– Ну уж и артистка! – Женя презрительно фыркнула. – Ей лет-то…

– Откуда ты знаешь?

– Вон паспорт лежит.

Гелька быстро повернулась. На комоде, на кружевной салфетке, лежали два паспорта, и она осторожно взяла тот, что сверху.

– Я посмотрю?

– Мне-то что, смотри. – Женя пожала плечами, подошла к своему столику, села к нему, как за парту, и открыла первую страницу в тетрадке.

– Левицкая Мира Марковна. Дата рождения…

Гелька удивилась и опять подошла к окну. Взглянула на девушку и смущенно оглядела себя: неказистая кофта с вытянутыми рукавами, простая черная юбка, перешитая из старых отцовских брюк.

Она положила паспорт на место.

– С кем эта Мира здесь будет жить?

– С матерью.

– А мать где?

– В госпиталь уехала. Машину за ней прислали. Слышала, больница имени Орджоникидзе – самая большая в городе – теперь госпиталь? Так вот, ее мать, – Женя кивнула на окно, – будет там главным хирургом работать.

– А эта чего там сидит?

– Понятия не имею. – Женя сердито поджала губы, по-взрослому подперла подбородок кулаком. – Я ей сказала, чтобы шла в дом, а она даже не повернулась. Мать, наверное, дожидается.

Гелька еще раз выглянула в окно.

– Стемнеет скоро… Осень уже. – Она размотала свой платок, опустила его с головы на плечи. – Вы им какую комнату отвели?

– Какую… – Женя подтянула повыше воротник фуфайки (серо-коричневой, связанной «в резинку», пуговицы сбоку у шеи), фыркнула сердито. – Вот тебе и какую! Я так мечтала о своей комнате… Чтобы у меня там и кровать стояла, и шкаф, и книжные полки… Мама занавески сшила. А теперь вон, видишь?

Женя встала, подошла и распахнула дверь в комнату, где уже стоял большой черный чемодан, кивнула на него.

– Это матери ее, простецкий. Утром еще принесли, когда мы в школе были. У девчонки-то покрасивее, современный. А у меня опять будет все по-старому…

И Женя с тоской обвела взглядом «большую» комнату.

Круглый стол.

Над ним лампа в оранжевом абажуре с кистями (Жене она никогда не нравилась – мещанская).

Четыре стула, бабушкин комод и столик (тот самый, за которым она делала уроки).

Пианино у дальней стены, этажерка в углу (с салфеточками и фотографиями в темных потрепанных рамках).

И Женя снова должна заниматься, подложив под учебники старую газету, будто она все еще маленькая, а новый письменный стол – купленный специально для нее! – так и останется в комнате у эвакуированных. И кто-то чужой будет за ним сидеть.

– Эвакуированным все помогать должны. – Гелька кинула сочувственный взгляд в окно, потом села на стул, подвернув под себя ногу, осторожно глянула Жене в лицо. – Отец прислал чего-нибудь с фронта?

Женя кивнула.

– Письмо прислал. – Потом спросила у Гельки: – А к вам не подселяли?

– К нам – куда?

Гельке на самом деле даже хотелось, чтобы у них в доме жили эвакуированные. Она жаждала всего нового – и новых людей. Ей все время хотелось куда-то мчаться, лететь, узнавать что-то новое, необычное…

Она вздохнула:

– У нас метраж не позволяет. К нам, сказали, не будут селить.

Гелькина семья – мать, отец и двое младших братьев-близнецов – жили в одной небольшой комнатушке. Гелькиного отца не призвали на фронт, и он остался работать на заводе.

Женя этому здорово завидовала – втайне, ведь, по идее, это Гелька должна бы завидовать, что не ее папа Родину защищает… Правда, Гелькин отец еще до войны был героем-стахановцем, его и орденом наградили, и обещали две комнаты дать – но не успели.

Да что там: Женя даже стыдилась немного, что у них был свой дом – добротный, хоть и старый – с резными, темного дерева наличниками на окнах (такие Жене нравились даже больше, чем современные голубенькие – как в уборной). Но ведь ни у кого из ребят в их классе своего дома больше не было, и получалось, что Женя жила каким-то старорежимным частным собственником. Это было немного стыдно, и она не любила, когда кто-то кроме Гельки к ней заходил.

Правда, Витя Некрасов из их класса жил вообще в огромной квартире – в самом центре, прямо рядом со зданием областного НКВД, – но то Витя! Его отец в городе самый главный. А у Анюты, их классной (на самом деле Анны Ивановны, просто они ее так звали – Анютой), вообще только каморка в холодном бараке. Однажды, когда Женя зашла к ней зимой за книжкой, Анюта даже велела не снимать пальто, да и сама спала одетой под старым тулупом рядом с буржуйкой.

А вот у Николая Павловича Мезенцева, учителя математики, жилье было самое интересное – рядом со школой стоял старый двухэтажный дом, и там на крыше была собственная голубятня. На первое мая он всегда выпускал голубей, чтобы они летали над школой, и ребята, стоя на линейке во дворе, ими любовались.

У Жени дом был хоть и не очень просторный (и старый, еще бабушкин), но крепкий, с палисадником перед улицей и крохотным садиком во дворе. Он стоял одним из десятка деревянных домов по их улице – не на окраине, но и не в центре, так что в школу, когда была плохая погода, Женя ездила на трамвае. И папа обещал ей купить *взрослый* велосипед, когда она перейдет в десятый класс, чтобы до школы быстрее добираться, да разве сейчас можно об этом думать? А то, что их дом был бревенчатым, так это оказалось даже лучше, чем если бы каменным. В деревянном жить теплее, сказала мама. А папа сказал, когда на фронт уходил: «Ты, Наташенька, дрова береги. Мало ли… Может быть, это надолго». И Женя помнит, как отец отвернулся, и у него дернулась щека, и он зажмурился, но совсем не для того, чтобы кому-то подмигнуть. И сказал, будто поперхнувшись: «…И себя с Женей береги».

Гелька вдруг встрепенулась, всплеснула руками, наклонилась к Жене, чтобы быть ближе, зашептала на ухо:

– Слушай, я еще чего хочу спросить… Ты видела, как наши мальчишки выросли за лето? Особенно Некрасов. У-у-у! Прямо кавалер. И высокий какой стал! Он теперь меня на целую голову выше.

– Он и был высокий.

Женя села за свой столик и стала что-то писать в раскрытой тетради, макая ручку в чернильницу.

– Ну уж раньше он был не такой, как сейчас! – Гелька с неудовольствием посмотрела на подругу. – Чего ты все пишешь-то?

– Число сегодняшнее. Не помнишь, что ли, как Анюта сказала: не будем из-за войны отступать от традиций. Вот и пишу. Первое сентября тысяча девятьсот сорок первого года. Сочинение. «Как я провел лето». – Женя криво усмехнулась. – Ужасно оригинальная тема. Слава богу, можно и не про лето, а на любую свободную тему. Но могу поспорить, что все будут писать о войне. О том, как узнали, что она началась.

– Да ладно тебе, все про уроки да про уроки. – Гелька опять заглянула подруге в глаза. – А я решила дневник вести. Буду туда записывать все, что случилось за день. А потом перечитывать, когда вырасту. Правда, интересно?

Женя промолчала. Если честно, она-то дневник вела уже больше года, только никому не показывала. Зачем показывать, да и кому? Гельке, что ли? Покажешь кому-нибудь, еще

смеяться начнут. Не дай бог, мальчишкам из класса попадет в руки, вообще задразнят: дневник – это что-то вроде трусов, очень личное, только для себя. Да и чтобы мама с папой его видели, ни к чему. Конечно, они очень ее, Женю, любят, и она их любит, но все-таки ей бы не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, о чем она думает.

Гелька опять придвинулась ближе.

– А видела, Некрасов в галстуке сегодня в школу пришел? Не в пионерском, в настоящем! И в сером костюме… – Она от восторга закатила глаза. – Ему так идет! И костюм, по-моему, дорогой.

– Некрасов так вырос, потому что он нас старше. День рождения у него 18 ноября. Ему осенью будет семнадцать лет.

– А ты откуда знаешь?

Женя покраснела.

– В журнале случайно увидела.

– И так сразу запомнила?

В Гелькиных глазах мелькнул хищный интерес, но тут вдруг в дверь постучали. Девчонки замолкли. Гелька подтолкнула Женю локтем.

– Войдите! – важно сказала Женя.

Вошла незнакомка. Внесла чемодан. Он был явно тяжел для нее, и она тут же поставила его на пол. Гелька сразу заметила, что пальто ей широковато в талии. Материно, наверное, или сшито на вырост.

– Извините, куда мне можно пройти?

– Вон туда, – Женя сухо кивнула в сторону «своей» комнаты.

Девушка снова подняла чемодан и молча прошла мимо, закрыв за собой дверь. На чистом полу от ее полуботинок остались влажные следы.

– Ни здрасьте, ни до свиданья…

Женя с раздражением встала, притащила из сеней мокрую тряпку, бросила на пол и крикнула в сторону двери:

– Ноги, как с улицы приходишь, вытирать надо! Или вообще в сенях обувь снимать!

С той стороны не послышалось ни звука.

– Вот ведь фря какая. А меня мама из-за нее будет ругать.

Женя сама наклонилась и вытерла следы.

– У нее там на скамейке еще узел остался, – вспомнила Геля. – Пойду, помогу принести.

– Выслуживаешься, что ли?

– Ничего я не выслуживаюсь. Просто они ведь приезжие… Не знаешь откуда?

– Из Харькова.

Геля выскользнула во двор и вернулась с узлом. Сунулась в дверь к незнакомке.

«Ну теперь пропадет там с расспросами», – с неудовольствием подумала Женя.

Ей хотелось сосредоточиться и быстрее написать сочинение – да так, чтоб все ахнули. Недаром же она была отличницей с первого класса. Даже и не собирается она из-за войны сдавать свои позиции! И Некрасов чтобы тоже слышал, как Анюта ее похвалит. Это очень важно, чтобы Некрасов слышал. Гелька права: Витя действительно очень вырос. И костюм ему очень идет.

Женя задумалась.

Скоро мама придет с работы – сделай то, сделай это… Скорей бы прошло два года. Она обязательно окончит школу с медалью, и ее без экзаменов зачислят в медицинский институт. Тех, у кого медаль, без экзаменов принимают, Женя узнавала. Только для этого нужно, чтобы по всем-всем предметам были одни пятерки. Приятно, наверное, быть хорошим врачом. Вот как мать этой Миры, которую Софья Григорьевна зовут. Только приехала – уже на работу взяли. В самую лучшую их больницу. Машину дали.

А хорошо бы вообще поехать учиться в Москву! Москва… Там, наверное, совсем другая жизнь, все по-серьезному!

Гелька пробыла в комнате недолго: выскочила назад.

– Ты чего как ошпаренная? – Женя сама ни за что на свете не пошла бы подносить этот проклятый узел.

– Знаешь, что она там делает?

– Что?

– Лежит.

Женя не поняла:

– Упала, что ли?

– Да нет. В том-то и дело, что она просто лежит. На постели. Закрыв глаза.

Женя разозлилась.

– Ну и что?

– Сама посмотри.

Женя сердито взглянула на подругу, решительно встала, отворила дверь и вошла в комнату. Мельком кинула взгляд: на ее письменном столе лежал ненавистный синий узел. Так бы его и скинула на пол! Но Женя удержалась и сделала два шага вперед. Гелька на цыпочках пробралась за ней, стала смотреть из-за плеча.

Девушка, как была одетая, в пальто, носочках и полуботинках, лежала на кровати (на любимом Женином розовом покрывале!) наискосок, снятый берет валялся рядом. Бледное лицо запрокинулось к стене, и волосы темными волнами обрамляли его – будто водоросли на мелководье, колышущиеся над полузанесенной песком раковиной. На безымянном пальце тускло поблескивал тоненький золотой перстенек.

Женя сделала шаг по направлению к кровати:

– Эй, что с тобой?

Голова девушки чуть заметно качнулась. Ровные дуги бровей медленно приподнялись, так же медленно приоткрылись веки.

– Можно попросить вас не беспокоить меня?

К Жениной голове прихлынула горячая волна. Это ведь ее комната! Она здесь хозяйка, а не эта, что разлеглась.

Она решительно подошла и резко сдвинула ноги незнакомки на край, чтобы ее полуботинки не пачкали покрывало.

– В нашем доме не лежат одетыми на кроватях!

Девушка опять сомкнула веки, как тяжелобольная, и отвернула лицо.

Гелька застыла на месте и буквально впилась в нее глазами.

– Слушай, может, ей плохо?

Женя развернула подругу к двери.

– А думаешь, мне хорошо, что она, как свинья, с ногами на мое покрывало влезла?

– Тише ты!

– Еще чего!

Девчонки вышли, прикрыв за собой дверь.

– Зачем ты так?

Гелька сердито стала повязывать свой платок на голову и вдруг, опять развязав, решительно бросила его на стул.

– Знаешь, я все-таки помогу ей разобрать узел.

– Тебе просто любопытно.

– Ну и что? – У Гельки еще сильнее покраснел кончик носа. – В знании нет ничего плохого. Нам с первого класса все уши прожужжали, что надо много знать.

И она снова скрылась за дверью. Вскоре оттуда раздались какие-то звуки.

«Вещи раскладывает», – поняла Женя.

– Ой, как тебе идет! – вдруг раздался Гелькин голос.

Женя не выдержала и вошла.

Мира все так же лежала на постели, но Гелька теперь возилась подле нее с перламутровой заколкой, той самой, бабушкиной, которую Женя так любила. Трогала только изредка, опасаясь сломать.

– Дай-ка сюда, – сказала Женя с возмущением и протянула руку.

– Ты же сама всегда говорила, что всякие заколки – это мещанство, – удивилась Гелька, но заколку отдала.

Мира чуть повернула голову.

– Как тебя зовут? – вдруг спросила она. Голос у нее был низкий и хриплый.

Девчонки посмотрели друг на друга.

– Меня? – спросила Женя.

Мира отрицательно покачала головой.

– Геля.

– Красивое у тебя имя: Ангелина. – Гелька чуть не подпрыгнула от радости.

Жене показалось, что губы у Миры дрогнули.

– Ангел. Только женского рода.

– Мне такое и в голову никогда не приходило, – смущенно пожала плечами Гелька.

– При чем тут ангелы? – вконец разозлилась Женя. – Мы же комсомолки.

Она резко повернулась и вышла из комнаты. Мира снова закрыла глаза, как бы показывая, что знакомство окончено.

– Подлиза ты, – сказала Женя, когда они опять остались с Гелькой вдвоем.

– Ничего не подлиза.

Женя опять молча уселась за стол, подвинула тетрадку, но Гелька не умела долго сердиться.

– Сейчас многие стали письма артистам писать. Ну тем, кто на фронт ушел. Ты не хочешь?

– Очень им это надо. – Женя сосредоточенно отчищала прилипшую к перу соринку.

– Если Николаша тоже на фронт уйдет, я бы ему стала писать. – Гелька снова повязала платок.

– Если он уйдет, у нас математику некому будет вести. Кроме того, у Мезенцева близорукость. Забыла?

– Ой, Женька, какая ты… – Гелька еще чуть помедлила, дожидаясь ответа, но не дождалась.

Женя заперла за ней калитку и вернулась к столу, села, достала из кармана остаток сухаря, сгрызла. Ноги, хоть и были в старых обрезанных валенках, все равно мерзли. И как эта эвакуированная в носочках фасонит в такой холод? В прежние годы печку-голландку подтапливать начинали уже с середины августа. Уютно сидеть, когда в голландке потрескивают дрова… А теперь мама даже с утра не кладет хоть два полешка. Вчера велела Жене принести из сарая старую керосинку и караулить, когда на угол привезут керосин.

Женя положила тетрадь поудобнее. Письма Гелька собралась писать Николаше! Больно нужны ему ее письма. Николай Павлович уже старый. В прошлом году Женя слышала, как Анюта его поздравляла с днем рождения. «Дорогой товарищ Мезенцев, поздравляю вас с днем рождения! Какой вы счастливый! У вас еще вся жизнь впереди!» Вся жизнь… Ему уже двадцать пять лет! Еще немного, и он старик.

Однако на какую же тему ей начать сочинение? Все, наверное, и правда будут вспоминать начало войны. А она, Женя, напишет сразу про победу. Ведь мы же не можем не победить. Мы все равно победим!

Она на секунду задумалась, прикусила зубами кончик деревянной ручки, наклонилась и аккуратно вывела заглавие, поставив жирный восклицательный знак:

Во знаменование нашей победы!

А ошибку свою в этом предложении не заметила.

Глава 3. Опасайтесь слишком умных детей

Ну вот, закончены на сегодня все виртуальные уроки. Скоро стемнеет. Я встаю и иду переодеться в домашнее. Я знаю, что дети не видят меня на экране ниже пояса, но все равно перед уроками одеваюсь и причесываюсь, как на работу. Не позволяю себе сидеть хоть и причесанной, но в пижамных штанах. А дети – кто в футболках, кто в худи, некоторые еще и капюшоны на головы накидывают черт знает зачем. Думают, что если они в капюшоне, так я их не вижу; типа, если не смотреть черту в глаза, то он тебя и не спросит. Ну да, когда я сама училась, мы тоже не очень-то ели преподавателей глазами. А сейчас они еще и на связь кивают, из-за которой мы якобы друг друга не видим. В основном это балуются семиклассники, хотя, может, и в самом деле связь у кого-то плохая.

Из старших в капюшоне сидит только одна девочка – Анжела Полковникова, как раз из моего 9 «В». Из-под капюшона виден только ее рыжий локон, кончик носа и губы в помаде. Многие девчонки начали краситься на карантине, а некоторые еще и приклеили накладные ресницы – от необходимости себя выразить, как я понимаю. Я делаю вид, что ничего не замечаю, и в принципе даже сочувствую: обалдеешь сидеть на карантине целую вечность. Надеюсь, они хоть выходят куда-нибудь погулять? Может быть, с собаками? С собаками гулять разрешено. Но думаю, что далеко не у всех есть время на прогулки. У многих занятия с репетиторами, всякие «зумы», а некоторые дети (родители мне жаловались) просто тащатся от того, что могут запереться в своей комнате, никого не впускать и никуда не выходить. Еду требуют подавать им в двери – и тут же закрываются. Это напоминает мне кормежку зверей в зоопарке.

Я снова беру странички дневника и иду с ними в кухню. Соня Кириллова из 9 «В» – та самая, которая переслала дневник – девочка безусловно смышленая, и странички она мне переслала не просто так, а с целью предвосхитить события и обеспечить себе нужные баллы. Какие события? Прошел слушок (а слухи сейчас носят характер рекомендаций), что городское образовательное начальство решило провести между школами нечто вроде виртуального Бессмертного полка, совместив при этом с чем-то типа конкурса на тему «Никто не забыт, ничто не забыто». Вроде как, если сидим в виртуальном пространстве, то делать особо нечего, надо же заняться чем-то полезным (и заодно угодить еще более высокому начальству). А мы, подневольные люди, должны подчиняться – и не только преподаватели, но и ученики. Поэтому Соня Кириллова, которая тянет на медаль с шестого класса, то есть все то время, что я ее знаю, решила подсуетиться.

Вообще-то золотую и серебряную медали упразднили довольно давно, и теперь эта награда называется почетно, но неинтересно: «За особые успехи в обучении». Но дети и родители все равно называют ее «золотой медалью». Награда эта и преимуществ-то особенно никаких не дает, только несколько лишних баллов при поступлении в вуз, но Соня Кириллова – девочка особенная. Я, пожалуй, за всю свою жизнь не видела настолько старательных и погруженных в свои успехи детей. Мне иногда ее жалко. А родители, кстати, у нее самые обыкновенные. Довольно закрытые люди, ничем особенно не отличающиеся от других: ни положением своим, ни достатком, ни мыслями. Во всяком случае, на родительских собраниях всегда сидят помалкивают.

Так вот, в рамках этой инициативы я попросила учеников подготовить для виртуального стенда свидетельства о войне – у кого какие есть. Лучше иметь все заранее, чтобы потом не торопиться, не искать впопыхах. Естественно, все ученики пока промолчали, и только Соня Кириллова вскоре переслала мне странички из дневника какой-то своей родственницы, с вопросом – свидетельство это о войне или нет? Написала, что может прислать мне весь днев-

ник и еще скан орденов своего прадеда. Хочет, чтобы я выбрала, что лучше подходит: дневник или ордена. Типа, она тупит, не знает, что выбрать.

Агата Кристи как-то сказала, что следует опасаться молодых людей, которые проявляют благовидную обеспокоенность судьбой старшего поколения. Они всегда оказываются самыми расчетливыми. Не исключено, что она права.

Вообще-то мне не нравятся дети, которые во главу угла ставят оценки. К счастью, таких немного, да и мотивы у всех разные, но Соне я обещала ответить. И вот теперь думаю: а как можно выбрать? Ведь, казалось бы, ордена – бесспорная награда – за военный подвиг, доблесть, но разве орден – это свидетельство о войне? Орден – это уже факт, послесловие в каком-то смысле… А дневник, если он настоящий, и есть истинное свидетельство. Но кто бы еще знал, что в самом деле кроется за этими записями?

Я наливаю воду в чайник и жду, пока он вскипит. Заодно включаю телевизор. Очень крупный политический деятель говорит с экрана, что сейчас мир находится в состоянии войны. Войны с пандемией, с ковидом. Я смотрю на свои руки. Они такие же, как всегда: левый мизинец чуть кривоват – в детстве упала с велосипеда и сломала палец. Я смотрю на этот мизинец, на его чуть заметную кривизну и думаю, что если вдруг заболею и умру, и меня кремируют, как отца (ведь всех умерших от ковида кремируют?), то не будет ни этого пальца, ни руки, ни меня.

Мне становится не по себе, и я прячу ладонь в карман брюк. Делаю себе чай, выдавливаю в чай четвертинку лимона, кладу сахар. Стараюсь пить мелкими глотками, ощущая вкус и наслаждаясь, как я это делаю всегда, но пить уже почему-то не хочется. Дыхание прерывается, и сердце бьется сильнее обыкновенного. По телевизору показывают графики: ползущие вверх красные, синие и черные кривые – заболеваемость ковидом в России, в Москве, в нашем городе, в мире. Столько-то заболевших, столько-то умерших… Кривая умерших ползет вверх – неумолимо и устрашающе. С прыгающим сердцем я ставлю чашку на блюдце, и она вдруг брякает с каким-то зловещим звуком, похожим то ли на кряканье, то ли на стук костей в мультиках про скелеты.

Я выключаю телевизор и подхожу к окну. Уже темно, дома напротив горят огнями, и это хоть немного, но успокаивает. Если в домах горит свет, значит, не все еще умерли, люди продолжают жить. Машинально я проверяю рукой отопление: работает. Становится немного легче, но сердце продолжает сильно биться, и я подхожу к шкафчику, чтобы решить, что лучше накапать – валокордин или валерьянку. Капаю валерьянку.

Впервые в жизни я жалею, что у меня нет детей. Орали бы сейчас, визжали, дрались… Мне тоже пришлось бы орать, усаживать их ужинать или делать уроки. Тяжкая участь. В большинстве семей, которые я знаю, все именно так, но там родители по крайней мере не чувствуют себя одинокими. Я останавливаю себя: «Да? Ты в этом уверена?» Нет, конечно, нет.

…

Я делаю глубокий вдох, допиваю уже остывший чай, забираю листочки из дневника со стола и возвращаюсь в комнату, к ноутбуку. Я уже не думаю о смерти, мои руки не напоминают мне больше о тлене и об огне, но в душе все равно нет покоя.

«Ну почему, почему я обязательно должна заболеть?» – думаю я.

По статистике, заболевает не так уж много людей. Я почти не выхожу из дома, заказываю по интернету еду.

«Да, – отвечаю я сама себе, – но отец вообще жил с Тосей в деревне, и вот…»

Я вдруг срываюсь с места, иду в кладовку и выволакиваю оттуда старый дипломат. Груда бумаг опрокидывается на пол. Я стою перед ней и думаю, что со мной происходит какое-то безумие. Вместо того чтобы просто посмотреть какой-нибудь фильм и лечь спать, я стою, вся

трясущаяся от волнения, в сияющей огнями комнате перед грудой не нужных мне свидетельств уже ушедшей жизни.

Не знаю, что я за человек – может, плохой, может, не очень, – но во мне присутствует какая-то холодность ко всему, что меня окружает. Когда мне было пятнадцать, умерла мать, и я приняла это просто как факт. Вот теперь умер отец, но я чувствую только страх за себя. Нельзя сказать, что не сочувствую Тосе, нет, я верю, что она горюет искренне. Жаль, не могу сказать этого о себе. Даже не знаю, как это выразить: во мне… нет, не равнодушие, но какая-то предопределенность.

Мы все умрем, и это закон природы, и это знание терзает меня всю мою жизнь. Не то что я панически боюсь смерти, но я всегда помню о ней. Я помню о ней подсознательно, даже занимаясь работой или какими-то обыденными вещами. Memento mori, и я свыклась с этой мыслью. Я читала нечто похожее в записках свидетелей Ленинградской блокады. Специально готовилась, чтобы рассказать ученикам об этой страшной истории из жизни нашей страны. О трупах на саночках. О том, как осторожно надо было спускаться по лестницам еще не разрушенных домов, чтобы вылить на улицу содержимое туалетных ведерок и зачерпнуть в чайник воды из Невы. О том, что люди буквально сходили с ума при мысли о еде. Но я не стала рассказывать, что через некоторое время люди стали привыкать к смерти, говорить о ней спокойно, даже тривиально. И ведь это были не смерти каких-то посторонних людей, а смерть их детей или родителей, мужей или жен.

Мне кажется, я вечная наблюдательница чего-то далекого, и странно, что это далекое вызывает у меня гораздо больше эмоций, чем близкое. То, что я видела в жизни сама, мне не только неинтересно, а даже противно (особенно некоторые моменты). А вот девятое термидора, Брестский мир или голод во время гражданской войны Древнего Рима заставляют меня волноваться всерьез. Возможно, это из-за того, что действительность не то чтобы не устраивает меня, нет – скорее я сама разочаровываю действительность.

Последние годы отец страдал Альцгеймером и в общении был «никаким». Тетя Тося, должно быть, совсем с ним измучилась. Вообще в нем и раньше было много странностей. Опять же то, что в период моего студенчества он вдруг неожиданно бросил работу на кафедре общественных наук – и уехал жить к малознакомой ему женщине, Тосе, в небольшой поселок, почти деревню.

Была еще одна странность – как раз с «Рио-Ритой». Отец, в принципе, был равнодушен к музыке, но, когда слышал «Рио-Риту», с ним происходило что-то невероятное. Причем это случалось еще тогда, когда он был относительно молод. Особенно невыносимо было наблюдать это перед 9 мая, когда «Рио-Риту» передавали часто. При первых же звуках отец останавливался как вкопанный прямо в том месте, где они настигали его, и сильно сжимал голову руками. Казалось, он хочет раздавить свою голову, как арбуз.

– Что с тобой? – спрашивали его.

Но он только кричал, чтобы все отстали.

Тося потом говорила, что так ведут себя контуженые. Она знает: у нее брат таким с афганской войны пришел. Не знаю, как выглядел ее брат, но на лице отца отражалась одновременно и мука, и будто какое-то извращенное наслаждение: губы кривились, глаза закрывались, все лицо морщилось, и – слезы по щекам. Что это было? Видимо, он не понимал сам и не мог объяснить другим.

Одно я знаю: отец даже в армии никогда не служил.

В старости это его ощущение притупилось, хотя любовь к «Рио-Рите» осталась. Как-то он попросил меня купить ему пластинку танцевальной музыки военных лет. Винил ему было слушать не на чем, и я закачала в его телефон целую сотню разных фокстротов и танго, – но он все равно предпочитал «Рио-Риту». Тося включала ему телефон прямо с утра, и он лежал

под музыку неподвижно, как мертвый. Неизвестно, что он чувствовал, но зрелище было жутковатым.

Иногда Тося спрашивала отца:

– Может, хватит, Михаил Петрович?

Но результат всегда был непредсказуемым. Иногда отец сразу отдавал наушники, а иногда сердился на нее и кричал. Она же, впрочем, всегда относилась к нему ровно и, как мне казалось, с уважением.

Пасодóбль в переводе с испанского – «двойной шаг». Почему отец всегда называл эту мелодию фокстротом? Не знаю, мне никогда не приходило в голову спросить. Отец умер весной в больнице. Ему исполнилось 80. Его увезли с подозрением на воспаление легких, а через некоторое время по телефону мне сообщили, что у него ковид. Через пять суток бессильных волнений я получила в специальном чехле урну с его прахом и медицинские документы. Тосе они были не нужны, ей нужен был только мой отец, причем живой, хоть и старый – потому что она его любила, и я положила выписки в отцовский дипломат и оставила дипломат у себя. Но если не считать этих закидонов с «Рио-Ритой», пока отца не скосил Альцгеймер, он был человеком неординарным. Он интересовался и литературой, и ботаникой, и медициной, многое умел сделать своими руками, с удовольствием стряпал, помогал деньгами мне и не обижал Тосю – покупал ей конфеты и обновки. Почему именно «Рио-Рита» так действовала на него, не знаю. Отец был сорок второго года рождения и, естественно, танцевать под него не мог, и я даже не знаю, мог ли он маленьким его слышать.

Вместе с документами отца Тося передала мне и его телефон. Я предложила оставить его себе – ее телефон еще кнопочный, допотопный, а это была более поздняя и дорогая модель. Но она не взяла. Сказала, что не умеет с ним обращаться. И мне от этого даже стало легче: как-то я не могла представить, что набираю отцовский номер, а отвечать по нему будет уже не отец. Хотя я и могла поменять «симку»…

Телефон лежит у меня в ящике стола. До сих пор я даже не хотела брать его в руки. Черная плоская коробочка с мертвым экраном – как электронный гробик, в котором таятся наши с отцом последние разговоры.

Ничего особенного:

Как дела?

Как самочувствие?

Есть ли у вас еда?

Мои вопросы бесхитростны, как и ответы отца. Но у меня-то за душой чистота и пустота. А вот у него?..

Почему меня совершенно не интересовала его жизнь? Мне казалось, в ней не было ничего интересного.

Я ставлю телефон на подзарядку и включаю последнюю запись. Ну естественно, это пасодобль. Что за странная привязанность именно к нему?

Für mich, Rio Rita, Bist du Granadas schönste Señorita,
Für dich, Rio Rita, Klingt meine Serenada in der Nacht.

«*Для меня, Рио-Рита, ты самая красивая девушка во всей Гранаде. Для тебя, Рио-Рита, звучит моя серенада в ночи…*» Я специально перевела слова, чтобы понять, о чем там говорится, в этой песенке. Ничего необычного, так себе, хотя мелодия, конечно, зажигательная.

Мне становится тоскливо, будто кто-то набросил на меня тяжелую, вязкую сеть. Чтобы стряхнуть эту сеть, я начинаю кривляться и дергаться под музыку, нарочно делаю шаги не в такт, верчусь и размахиваю руками, но легче не становится.

Я задыхаюсь и выключаю музыку. Пора прекращать этот бардак. Завтра с утра опять онлайн-уроки, я должна быть в форме.

Опускаюсь на колени и снова запихиваю в отцовский дипломат всю его макулатуру. Под руку попадается единственная книжка, и я поднимаю ее.

Марк Левицкий. «Основы сопромата…»

Если отец сохранил ее, значит, была зачем-то нужна. Я переворачиваю книгу корешком вверх, трясу, думая, что может из нее что-то выпадет, как фокусник-картежник, прокручиваю страницы. Нигде ничего – ни закладки, ни пометки на полях. Непонятный мне текст, формулы, таблицы.

Я никогда не слышала, чтобы у отца был какой-нибудь знакомый с таким именем. Да и книга издана в далеком 1956 году – отцу тогда было всего четырнадцать лет. Я мысленно прикидываю: 1956 – через три года после смерти Сталина. Наверное, это во мне профессиональное, но, случайно или нет, все события середины 50-х прямо или косвенно можно связать со смертью Сталина. Вот и эта книжка… Год на то, чтобы написать текст, год – на прохождение инстанций, на третий год – напечатать. Я смотрю аннотацию: нигде нет никаких упоминаний об авторе. Просто Марк Левицкий. Нет сведений: ни кто такой, ни откуда, где работал, в каком городе жил – неизвестно. Фантом.

Я запихиваю книгу в дипломат поверх всего остального, засовываю его в кладовку. Включаю ноутбук, вхожу в интернет. В мир, в котором теперь лишь светлый прямоугольник экрана дает хоть какую-то информацию, ты не один. Хотя я понимаю, что и эта информация может быть лишь иллюзией. И тот самый недавно появившийся у меня дневник, вовлекающий в сладостный обман, дающий ощущение, что можно разобраться в чужой жизни, – тоже иллюзия, ведь как ты надеешься разобраться в чужой жизни, если так трудно разобраться в своей?

Глава 4. Старая школа

Школа продолжалась своей нудной и в то же время успокаивающей чередой.

Раз можно учиться – значит, жизнь продолжается. Женя не могла сформулировать эту мысль, она даже не обдумывала ее. Просто когда подходила утром к знакомому зданию – еле освещенному, темно-коричневому, из старого кирпича, – в ней вспыхивала надежда.

Здание было построено как раз к тому времени, когда Жене нужно было идти в первый класс. Женя гордилась, что ее школа существует целых десять лет, что в ней до войны даже было центральное отопление и прекрасные электрические лампы, жаль только, что сейчас в классе горит только одна лампочка и стоит жуткий холод. Правда, сторожиха каждое утро перед занятиями затапливала щепками старую железную печку, труба от которой просунута прямо в окно, такие печки привез откуда-то директор, а потом учителя подбрасывали в нее палки и ветки, которые приносили сами ребята, помимо дров, выделяемых специально для всех школ в городе, но все равно Жене даже сейчас нравится ходить в школу. Каждое утро она встречается с Гелькой, с которой хоть и частенько не разговаривает из-за ссор, но все равно про себя радуется ей; из-за того, что видит Некрасова, входящего в класс в сером «взрослом» костюме, из-за Анюты и Николая Павловича. И даже присутствие в классе Миры не могло испортить Жениной радости. Дома было бы совсем тошно.

Пришли в их класс и другие эвакуированные – несколько девочек и один мальчик, со странным именем Джеймс Рибенгауз. Джеймс был сыном советского специалиста-металлурга, он родился в Америке, а потом с родителями приехал назад. И хотя Джеймс был во всем как бы совершенно «свой» и одевался очень просто, в спортивные шаровары, шерстяную кофту и кепку, многие в классе видели, что в нем все равно есть что-то отличающееся от всех остальных, а что именно, объяснить не могли. Женя считала, что по сравнению с Витей Некрасовым он выглядит как американский безработный, во всяком случае, она так представляла себе американских безработных. Но, конечно, для Жени это было в Джеймсе не главное.

Еще была странная девочка из Ленинграда – Эля. Она оказалась помешанной на животных и чуть ли не с первого класса ходила ухаживать за зверями в Ленинградский зоопарк. Она и сейчас уговаривала девочек создать в школе юннатовский кружок, но крысы и мыши Жене не нравились, ежей и кроликов не было, а бродячих собак она побаивалась, но и собак тоже не было. Неизвестно почему Эля выделяла ее из числа других девочек и чаще всего обращалась именно к ней, но Женя не поддавалась идее создания кружка.

Другие эвакуированные девочки оказались глупыми и сварливыми. Хвастались своей довоенной жизнью, нарядами, должностями их папаш.

Мира отличалась от всех.

Жене казалось, что она «фасонит» и задается, но Гелька утверждала, что нисколько, просто у Миры такой характер. Вообще Гелька очень восхищалась Мирой: все время отмечала, какие у Миры глаза и брови, какое у нее колечко, какая она вообще необыкновенная, будто других таких девушек в городе больше нет. И Гелька говорила, что вообще ни разу в жизни такого человека, как Мира, не встречала.

А Мира все время молчала. Чаще всего она сидела на уроках с отсутствующим видом, только изредка поднимая печальные, как говорила Гелька, глаза на доску (а чаще в потолок). Жене ее взгляд казался печальным не более, чем у коровы.

Мира никогда не участвовала в разговорах на переменах, просто сидела на одном месте за партой и, даже если в нее случайно попадала кинутая кем-то тряпка, не реагировала. Только однажды, когда тряпка попала ей прямо в голову, Мира спокойно сняла ее с волос и так же спокойно опустила на пол в проход между партами. Сначала все притихли, а потом дежуривший в тот день Некрасов подошел, поднял тряпку, отнес на доску и зачем-то сказал: «Мира,

извини!» – хотя это вовсе не он ее кинул. И Женя отметила, что больше в этот день тряпками никто не кидался, хотя, впрочем, и перемен осталось в этот день всего только две.

Раздевалку в школе закрыли, и пальто теперь беспорядочной кучей сваливали на последнюю парту, пока мальчишки на уроке труда не соорудили из старых досок простую, как виселица, вешалку. Виселицей как раз обозвал ее Джеймс, и все захохотали, но название осталось. После уроков Мира вставала, затягивала платок у горла плотнее, надевала пальто, серую каракулевую шапочку (Гелька сказала, что, когда пойдет работать, купит себе такую же), одна выходила из класса и шла домой.

Женина мама вначале предложила, чтобы Мира ходила в школу вместе с Женей («Девочкам вместе будет повеселее»). Но как только они вместе дошли до трамвайной остановки и Женя свернула за угол, чтобы добежать до школы пешком, сэкономив гривенник, Мира спокойно села в подошедший трамвай и уехала – ни слова не сказав и даже не попрощавшись.

– Зачем ей прощаться, если все равно в школе все встретимся? – сказала Геля в ответ на Женькин возмущенный рассказ о коварном поступке Миры.

– Можно подумать, что ты, как Плевако, взялась ее во всем защищать, – ответила Женя и два дня после этого с Гелькой не разговаривала.

Но Жене даже себе не хотелось в этом признаваться – злость на Миру из-за комнаты менялась на скрытый интерес. «Я наблюдаю за Миркой, как Эля наблюдает за хомяком в своем зоокружке», – даже записала как-то Женя в дневник. Дальше развивать тему она не стала, но, попадись эти записи к современному психологу, тот бы сказал, что через Миру – такого непонятного ей человека – Женя стала познавать мир.

С сочинением вышло, честно сказать, не очень.

– Женя написала очень хорошее сочинение, – объявила Анюта, когда вошла наутро в класс с пачкой тетрадей. – Замечательно, что она писала о будущем, которое, я уверена, скоро наступит. Наша победа, ребята, не за горами.

Класс молчал, привыкший к Жениным успехам. Но Анюта вдруг сказала:

– Женя, пойди к доске и напиши название своего сочинения.

Анюта протянула ей тетрадку. Женя машинально взглянула на отметку и вздрогнула: «Хорошо».

Почему же только «Хорошо», если Анюта сказала «замечательно», «победа не за горами» – именно об этом ведь и писала Женя! У нее от обиды задрожали коленки. Ведь она отличница! Учиться на отлично – вот пока ее единственная гордость, единственное достояние. И мама спросит об оценке, и папе она должна будет написать о «хорошо»… А он, уж Женя-то знает, будет недоволен: «Какой смысл получать “хорошо”, если ты вполне можешь получить “отлично”»? Женя и сама так думала, но вот…

Она машинально взяла в руки мел и повторила на доске тему:

Во знаменование нашей победы.

Зачем, почему Анюта заставила ее снова написать? Может быть, слово «победа» теперь нужно писать с большой буквы?

– Вот, Женя, теперь я поняла, что это у тебя не описка, что ты сделала ошибку и до сих пор не видишь ее.

Голос у Анюты был строгий и огорченный одновременно, и Женя растерялась.

– Ну, ребята, кто теперь поправит Женю?

Но класс молчал, растерянно глядя на доску. Смотрела на ребят и Женя.

Геля подняла руку.

– «Вознаменование» – надо писать в одно слово!

– Садись, Полковникова, – поморщилась Анюта. – Еще у кого будут какие мнения? Рибенгауз?

– Если я не ошибаюсь, у Салтыкова-Щедрина сказано было так: «Сии дни праздновали и, в ознаменование общей радости, ели пироги». Правда, я не знаю, пироги и победа…

– Какое же произведение Салтыкова-Щедрина ты цитировал? – спросила Анюта, а Гелька ехидно фыркнула.

– «Помпадуры и помпадурши», 1874 год.

Женя покраснела. Она даже и не слышала никогда о таком произведении. Гелька состроила гримаску.

– Прекрасно, Джеймс, – сказала Анюта. – Ты великолепно начитан. Все ребята в этом должны брать с тебя пример. Но кто еще скажет, как надо правильно писать «в ознаменование» и почему?

– Левицкая! А что ты скажешь?

Мира встала, повернула голову, как бы смотря не напрямую на Анюту, и уж тем более не на Гельку. Жене показалось, что Мира смотрела на нее.

– Я думаю… – голос у Миры был такой низкий и густой, что, казалось, это не ученица отвечает урок учительнице, а две равные по возрасту женщины ведут неспешную беседу друг с другом за чашкой чая. – Я думаю, что Кириллова специально написала не так, как принято в словаре. Она хотела подчеркнуть главное – знамение. Ведь наша победа предначертана свыше, как знамение торжества справедливости.

Анюта немного опешила, а Женя прямо вспыхнула:

– Еще чего! Я ни про какие знамения ничего не писала! Знамение – это вообще что-то религиозное. А мы – атеисты. Комсомольцы вообще не могут верить в бога!

– Некрасов, а ты как думаешь? – Анюта рукой приказала Мире сесть.

– Я…

Обычно у Вити Некрасова всегда был готов правильный ответ. Но сейчас он почему-то молчал и делал какие-то странные глотательные движения, будто вдруг подавился.

– Я… – он долго прокашливался, очевидно, собираясь с мыслями. – Я думаю, – наконец, выдавил он, – что это тот редкий случай, когда и Левицкая, и Кириллова, обе могут быть правы. Вероятно, в смысле этого заголовка может быть применено право автора написать так, как ему хочется.

– Это что еще за право автора? – удивилась Анюта.

– Бывают же исключения, когда автор ставит знаки препинания не так, как это предписывается грамматикой, а так, как он считает нужным, чтобы интонационно выделить смысл своего предложения. Возможно, что и в этом случае Женя Кириллова написала с ошибкой специально.

– Некрасов, ты же всегда русский язык знал на отлично, что же с тобой случилось? – переспросила удивленно Анюта.

Женя, вся красная, уже исправляла на доске название своего сочинения.

– Я не имела в виду знамения. Раз ошиблась, значит, ошиблась, – зло поджав губы, сказала она. – Теперь уж запомню, как пишется это несчастное слово.

– Женя! – Анюта даже пристукнула ладошкой по столу. – Ты написала прекрасное сочинение! Никто из нас не сомневается в нашей победе! А за твою ошибку мне пришлось снизить тебе оценку. Очень досадно. Садись.

«Мне тоже», – хотела пробурчать себе под нос Женя, но промолчала.

Вот ведь предательницы! Гелька – та вылезла указывать на ошибку, Мирка вообще приплела черт-те что. Один Некрасов, как ей казалось, хотел ее выручить. Какой он дипломат, и какой он добрый – Витя Некрасов! Сказал, конечно, какую-то чепуху про авторское право, чтобы Анюта поскорей отстала… Как он сказал?

«И Левицкая, и Кириллова – обе могут быть правы!»

И Женя уже не так огорчилась своему «хорошо».

Глава 5. Кринжово

– Ма-а-ам!

– Ну что?

– Нам дали задание сделать онлайн бессмертный полк!

– Ну, сделай.

– А как я сделаю?

– Ну я не знаю. – Елена подняла голову от ноута, с которым сидела за кухонным столом, и посмотрела на дочку растерянно – она сама еще была вся в работе. – А что для этого нужно?

– Все делают из фотографий. Родственников-фронтовиков несут.

– У нас тоже есть, – Елена обрадовалась, что вопрос можно решить быстро. – Твой прадедушка. Он всю войну прошел. Такой симпатичный – старший лейтенант. У него орденов и медалей была целая куча. Поройся в гардеробной. В левом шкафу на дне есть старая сумка. В ней альбомы с фотографиями, какие-то старые документы, чего только нет!

Это было целую вечность назад – целых два дня, когда Соня еще не знала, что под старыми фотографиями лежит дневник.

Теперь она вышла из гардеробной и стояла, скинув тапки, в дверях кухни на нагревающемся полу.

Был тот самый час, про который раньше говорили со спокойствием и безысходностью: вечереет. В такой час хочется усесться поудобнее и послать всех подальше. Соня уловила этот момент, подошла к высокой старинной этажерке у окна (на такую, наверное, когда-то ставили слоников в ряд – от самого большого до крошечного) и включила лампу в желтом матовом абажуре. Рисунок в виде старинных географических карт по окружности абажура осветился изнутри и будто манил приключениями из сгинувших веков.

– Мам! Я в гардеробной нашла большой коричневый конверт, – сказала она матери, постоянно теперь работающей в кухне. Макбук, кружка с кофе, два телефона и выключенный сейчас принтер на пластиковом ящике для картошки – это все теперь считалось ее мини-офисом.

– Угу.

– Большой такой конверт, из плотной бумаги. – Дочь нетерпеливо почесала одной голой ногой о другую.

– Что?

Елена с трудом оторвалась от таблиц на экране. Она была еще вполне молодой и симпатичной, но дома, в халате и без прически, Соня видела в ней не менеджера, а только маму. Ну, и пусть, лишь бы слушалась.

– Бананы в пакете. Можешь взять два. Нам с папой по одному. – Елена отвернулась и снова уставилась на таблицы.

– Я не про бананы. – Соня подошла к кухонной тумбе и взяла из вазы яблоко.

Елена снова рассеянно посмотрела на худенькую спину, такую знакомую и родную (одна лопатка чуть приподнята от того, что Соня вечно сидит у стола боком), и ноги, которых в этом году не коснулся загар, потихоньку наливавшиеся мышцами и уже не похожие на палочки-карандаши.

– Сонь, у тебя шорты на попе грязные, и футболку неплохо бы сменить. Брось в корзину, я завтра постираю.

Она повернулась к экрану, и «хвост» на затылке, перетянутый резинкой, слегка качнулся. Соня вспомнила материну привычку крутить этот хвост в минуты задумчивости и свое слепое копирование этой привычки, с прикусыванием кончика вдобавок.

– Уделила внимание дочери, называется. – Соня хрустнула яблоком. – У Шуберта есть «Музыкальный момент», а у нас воспитательный.

– А? – навела стрелочку и стала что-то исправлять в таблице Елена.

Соня подошла к окну, выглянула через стекло во двор.

– Ничего. Шуберт. Я его в четвертом классе играла. На нашем древнем раздолбанном пианино столетней давности. Прабабушкином еще.

– Сонь, я, вообще-то, работаю. – Елена подняла голову и снова невидящим взглядом уставилась на дочь. – Включи, пожалуйста, пылесос. У себя и у папы. А здесь не надо, будет мешать.

– Круто, – сказала Соня. – Мама работает. Я тоже работаю. Учусь. В предвыпускном классе. Про который нам задолбали, что он очень важен. Но со мной почему-то никто не разговаривает.

– Ага, – сказала Елена и опять что-то исправила в таблице.

– Мам, ты вообще меня слышишь? – Соня подошла вплотную к столу и положила руку на клавиатуру «мака». – Я тебя о чем-то спросила.

Елена отодвинулась от экрана, уже внимательней посмотрела на Соню и сказала:

– Повтори. – Ей стало стыдно. Наверное, она правда уделяет дочери мало внимания.

– С этим карантином все с ума сошли! – вдруг заорала Соня вовсе не о том, о чем раньше хотела спросить. – Мне пора стричься, между прочим, а парикмахерская не работает. Что мне делать?

«О господи. Какая-то тупость, – подумала Елена. – Что делать. Откуда я знаю, что делать? Надо ждать. Не может же так быть, чтобы эта эпидемия продолжалась вечно. Ну, наверное, кто-то что-то придумает, что-то сделает, всех спасет. Вообще, все это напоминает какой-то дурацкий фильм про апокалипсис, про эпидемии, про инопланетян…»

Она потерла лицо и стала массировать себе шею. Вот оно, следствие долгого сидения за столом. Ей еще нет сорока, а уже вовсю остеохондроз. А дочери нет еще шестнадцати, а одна лопатка выше другой – с первого класса. И эта девочка с милой поднятой лопаткой ждет, что ей ответят про парикмахерскую. Вероятно, кто-то знает, почему они не работают, так же, как и магазины одежды, и фитнес-залы, и кинотеатры. Вероятно, кто-то знает, насколько действительно опасно все, что происходит. Зря бы не закрывали?

– Я тоже хожу со старым маникюром, – сказала она. – Не умерла.

– Упс, – сказала Соня в ответ. – Ты же в школу не ходишь?

– Ты тоже сейчас не ходишь.

– Я все время думаю, как бы мне случайно пальцы перед экраном не выставить.

– Не верю, – сказала Елена. – И ногти твои никто и не разглядывает. Не сочиняй. Их не видно.

– Вот обкусаю до мяса, и будет видно.

– С чего это?

– От нервов, мамочка. У нас весь класс уже задолбался. Вон, под глазами синяки, никакие патчи не помогают.

– В сети надо меньше сидеть, а спать больше.

Соня закатила глаза, как бы показывая: что это поколение может еще предложить, чего от него ждать? Положила яблоко, подошла к матери сзади и сделала вид, что кусает ее в шею. При этом она громко рычала, но эти игры для матери были уже неприятны – не то что когда Сонька была совсем маленькой. Когда у дочки резались зубы, она кусала все подряд, и Елена сама давала ей грызть свой палец.

– Сонька, ну хватит.

Но игра рассмешила Соню.

– Ня-ня-ня-ня! – замычала она, прижимаясь теперь к материнской спине и обхватывая ее обеими руками.

Соня думала, что хочет, чтобы мать поговорила с ней, ответила наконец про тот коричневый конверт, и в то же время смутно ощущала, что в ней самой уже нет той острой потребности просто все время быть с матерью, как это бывало раньше. Наверное, сам запах дома, интимное и интуитивное воспоминание «маленькости» – то самое ощущение младенчества – постепенно переставало быть обязательным, готовилось исчезнуть, и это позволяло Соне чувствовать себя сейчас все-таки удивительно свободной, несмотря на любые карантины.

– Ну ладно, хватит обнимашек. – Елена захлопнула крышку макбука и с наслаждением потянулась. Руки у нее были нежные, тонкие, и Соня, залюбовавшись ими, посмотрела и на свою руку – похожа или нет.

– Кофе? – спросила Елена. – Растворимый или сварить?

– Чай.

У Сони запикали смарт-часики на руке. Они пикали очень часто, показывая Соне разные потребности ее дня, приводя мать и в восхищение, и в замешательство. Если уже сейчас у девочки расписан весь день, что будет дальше?

– Учти, у меня всего сорок пять минут, – сказала Соня.

– А потом что?

– Потом испанский, а после него английский.

– Ладно. – Елена взглянула вниз на Сонины ноги. – Пойди, надень тапки.

– Не холодно.

Соня уселась на кухонный диванчик, как всегда, подобрав под себя одну ногу, и стала листать что-то в телефоне, одновременно наблюдая, как мать достает из белых шкафов синие чашки, споласкивает кипятком заварочный чайник, всыпает заварку. Соне нравилась их квартира, нравилась кухня – вся белая, а горизонтальные поверхности из дерева янтарного цвета. Да и город их нравился, и школа, но все-таки… Хотелось чего-то другого, неосознанного пока, необычного, не такого, как у всех. И дело было не в шмотках, стрижке или даже машине, которую, как говорил папа, пора уже менять.

– Сонька выучится, денег подкинет, и поменяем, – смеялся он.

И Соня думала, что да, конечно, когда выучится, – но только если еще будет жить здесь, а не где-нибудь в другом месте. Каком, она пока не очень представляла, но кое-какие наметки имела. Главное – поступить туда, куда хочет.

Соня вздохнула: для этого придется уезжать. Пока в столицу, а потом… Молекулярная биология – море перспектив. Только бы не случилось осечки. И год терять не хотелось, и вообще: все поступят, а она что же? А здесь, в своем городе, университет не тот. Хотя здание и старое, и красивое, но… не то.

Соня вспомнила, как отец рассказывал, что университет (да и другие большие здания в городе) строили пленные немцы. И были эти немцы за колючей проволокой такие худые, такие несчастные, что люди даже плевать в них не хотели. И не обзывались, не ругались, когда проходили мимо, а только низко опускали головы, чтобы не смотреть.

Соня знала, что давным-давно семья отца раньше жила как раз на этом самом месте, на их теперешней улице. Соня, когда была с классом на экскурсии в музее, видела старый план города. Их улица была нанесена на план еще до революции, только стояли на ней старые, одноэтажные дома. Отец родился в одном из них. Дом был хороший, крепкий, теплый, а в палисаднике под окнами цвели георгины. У ворот две рябины, на них привязали веревки и повесили качели. Соня не прочь была бы сейчас покачаться.

Одна только фотография и осталась от того палисадника.

Ее бабушка стоит рядом с дедом, оба еще молодые, и бабушка в летнем платье, а дед в пиджаке и рубашке с воротником навыпуск. Сбоку пристроился какой-то старик с костылями, в костюме с галстуком, и одна нога у него какая-то странная: брючина на ней очень длинная, достающая почти до земли – так, что и ботинка не видно. Под рябиной в коляске ребенок. Это и есть Сонин отец.

Соне удивительно смотреть на этих людей: впечатление, будто это документальный фильм из той эпохи, про которую никто ничего не знает. Для Сони эта эпоха – как Древний Египет. Египет только красивее. В Сонином представлении он весь блестел золотом и бирюзовой эмалью, и, хотя Соня прекрасно знала, что там были рабы, что людей насмерть забивали палками и, привязывая к колесницам, таскали за ноги, к этому всему как-то странно примешивались современные пальмы, бассейны и браслеты «все включено».

Уже и отец мало что знал о том палисаднике. Он до сих пор слушал «Наутилус» и БГ, а когда Соня говорила, что в их треках нет ничего особенного и лучше бы он послушал кого-то современного – усмехался и говорил, что Соня ничего не понимает.

В начале 80-х тот дом, как и все другие такие же дома по соседству, снесли. Бульдозерами сровняли палисадники, сломали рябины, но зато поставили вдоль всей улицы девятиэтажки. Дедушкина семья получила в одной из них квартиру (это называлось *за выселением*) и радовалась, что не надо теперь заботиться об отоплении, а из крана течет горячая вода. А потом, лет уже через тридцать, в этих же дворах – между детским садом, магазином и поликлиникой – выкопали котлованы и повесили на щит генеральный план развития микрорайона. Красные кирпичные высотки с дворами, запертыми шлагбаумами, напоминали на плане отдельные государства. Тут уж подсуетились Сонины родители, и Соня сказала, что хочет жить высоко, этаже на двадцать пятом. Ипотеку за квартиру они выплачивают до сих пор.

Соня знает, что родителям, в общем-то, нелегко. А кому сейчас легко? Ей?

Квартира Соне нравится. Таких домов здесь шесть, и в них живет половина ее класса. Только некоторые ездят в их элитную школу с других улиц, из других районов. Кто-то и на трамвае ездит – трамвай ходит недалеко, но большинство привозят родители на машинах.

Если смотреть с лоджии вниз летом, зеленые кроны берез и лип смыкаются над крышами старых девятиэтажек, и Соне нравится, что она живет выше всех.

Возле подъездов консьержки устроили цветники. Посажены даже розы. Кое-где струятся небольшие фонтанчики. Из Сониной квартиры видна и школа. Дальше, за школой, сквер, вдалеке над ним крыша оперного театра с золотым Аполлоном, еще дальше – здание филармонии на широком проспекте, где ходит трамвай, а кругом – дома, дома… Красиво, особенно вечером, когда с двадцать пятого этажа ты видишь внизу море огней.

Соня выпила чай, посмотрела на свои часики и снова пошла в гардеробную.

– Мам! Письма читать можно?

– Господи, что мне, жалко?..

Соня наугад вытянула пачку открыток, перевязанную веревкой, развязала. Почерки были разные. На одной – совершенно детский. То ли первоклассник писал, то ли вообще дошкольник. Ошибки зачеркнуты косой чертой, а сверху написаны правильные буквы.

Дорогая доктор Женя! Я уже почти здоров. Кровь из носа не идет. Могу бегать. Спасибо вам.
Вова Филимонов.

Внизу – короткая приписка взрослым почерком:

Дорогая Евгения Васильевна! От всей души поздравляю Вас с Днем Октябрьской Социалистической Революции. Желаю крепкого здоровья и

счастья. Спасибо Вам за сына. Когда нам приехать на осмотр? Можно в декабре?

Дата не поместилась в линеечку и поэтому стояла в углу наискосок:

1 ноября 1967 года.

Какая даль! Столько лет назад…

Соне стало неуютно. Она подняла голову, мельком обвела взглядом знакомые предметы, фотографии на стенах… Вот она с родителями на море, вот они в Праге.

Она просмотрела мельком другие открытки. Незнакомый и какой-то даже враждебный, трудный, полный тревоги мир проглядывал сквозь эти надписи. Человеческое горе, с которым Соня еще никогда напрямую не сталкивалась, было далеко от нее и поэтому не вызывало сочувствия, а только как-то взвинчивало и напрягало.

На лицевой стороне в основном были изображены букеты – розы, гладиолусы, анютины глазки. Встречались виды городов или отдельные здания. Много было «С Новым годом» и «С Международным женским днем». Годы на шапках Дедов Морозов, на их мешках с подарками значились разные, самый последний – 1995. А Международный женский день закончился еще раньше: на открытке с букетиком блестящих незабудок четко просматривался почтовый штемпель с цифрами «1990».

Соня перебирала открытки – все это были поздравления и благодарности.

Век за Вас буду Бога молить…
Какие у вас чудесные руки, дорогая Евгения Васильевна…
…ведь мы куда только не обращались, только Вы смогли нам помочь…

И только одна странная вырезка из газеты на пожелтевшей бумаге.

Соня прочитала заголовок и поежилась. Некролог.

Нашему дорогому товарищу…

– Мам! – Соня вышла из гардеробной и направилась в кухню. – А кем мне приходится Евгения Васильевна?

– Сонь, мне сейчас некогда, возьми на себя труд, закажи пиццу.

– А что ты делаешь?

– Пытаюсь понять, долго ли нам еще сидеть в резервации.

– Из интернета выйти не можешь, а меня ругаешь, что долго там сижу.

– Соня!

– Что Соня? Папа вон тоже в комнате закрылся и играет в танчики.

– Ну сложно заказать, что ли?

– Ну заабьюзила уже, – тихонько проворчала Соня. – Ладно, закажу. Тебе с грибами?

– Мне с морепродуктами, а вам с папой – какую хотите. Спроси у него сама.

Соня носком ноги подтолкнула дверь в родительскую спальню. Отец лежал на постели с ноутбуком, возле него обложкой вверх валялся томик Пелевина.

– Я пиццу заказываю, – сказала Соня, набирая буковки на своем телефоне. – Тебе с чем?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.